

Политический романтизм сто лет спустя: взгляд из прошлого в настоящее

ШМИТТ К. (2015). ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ / ПЕР. С НЕМ. Ю. Ю. КОРИНЦА ПОД РЕД. Б. М. СКУРАТОВА; ПОСЛ. А. Ф. ФИЛИППОВА. М.: ПРАКСИС. 460 С. ISBN 978-5-4433-0006-1

Мария Юрлова

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии Института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального университета
Адрес: наб. Северной Двины, д. 17, г. Архангельск, Российская Федерация 163002
E-mail: procurator.minbar@yandex.ru

Книга «Политический романтизм» была написана Карлом Шмиттом чуть меньше ста лет назад, в 1917–1918 гг., опубликована в 1919 году. В 1924 году вышло второе издание, предисловие к которому приведено в русском переводе. Эта книга важна как по содержанию, так и по своему месту в творчестве Шмитта. До нее он уже опубликовал несколько крупных работ, посвященных исследованию понятий вины, закона и ценности индивида в сравнении с ценностью государства, однако именно «Политический романтизм» сделал ему имя и в Германии, и за ее пределами. В послесловии к русскому изданию А. Ф. Филиппов пишет, что это книга, «открывающая Шмитта таким, каким он предстает в своих эпохальных сочинениях» (с. 320), и это действительно так: здесь автор, судя по всему, впервые проговаривает мысли, развиваемые им в дальнейшем в «Политической теологии», «Понятии политического», «Духовно-историческом состоянии современного парламентаризма», в других работах, посвященных проблемам легитимности власти, определению сущности государства и права и т. д. Впоследствии Шмитт додумает то, что в «Политическом романтизме» было только слегка проговорено, отшлифует формулировки,отреагирует на критику, переживет Веймарскую республику и Третий рейх и во многом пересмотрит свои взгляды, однако их истоки мы находим уже здесь — причем иногда это почти дословные формулировки из более поздних работ.

Нужно сказать, что Шмитт не был тем, кто ввел в научный оборот термин «политический романтизм», однако именно эта книга несколько десятилетий была одной из самых важных работ по истории термина. Впрочем, в ней говорится не только об истории термина, но и об истории феномена политического романтизма в Германии и во Франции. Определение политического романтизма встречается только в заключении, а сам текст представляет собой постепенное развертывание авторской аргументации на разных уровнях: через исследование истории термина к субъектам (романтикам), через описание их литературной деятельности как

© Юрлова М. Д., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

романтиков — к политике, от политических последствий — к обобщению значимости политического романтизма как феномена и понятия. Мы будем следовать этой же логике.

В предисловии Шмитт пишет, что прежде, чем начинать разговор о политическом романтизме, необходимо определить, что такое романтизм и чем он не является. Перечисляя объекты, которые в разные эпохи именовались романтическими, мы ни к чему не придем, так же как идя по популярному пути исследования «национальной принадлежности» романтизма и романтиков, который часто больше служит политическим, а не научным целям. Если мы хотим изучить романтизм как духовное движение всерьез, а не сделать его поводом для удовлетворения каких-либо других интересов (забегая вперед, отметим, что, по мнению Шмитта, сами романтики именно так и действовали бы), то для определения сущности романтизма нам нужно обратиться к романтическому субъекту и его природе, способу бытия и действия в мире, и там искать ответ. Однако если мы последуем его совету и углубимся в исторические примеры, то обнаружим странную вещь: романтики одинаково часто встречаются среди революционеров, монархистов, социалистов и консерваторов. Шмитт пишет, что это не должно нас удивлять, поскольку романтизм в каждом случае остается абсолютно подлинным и тождественным самому себе. Его сущность такова, что он не является ни консервативным, ни революционным, поэтому исследование его через призму политики не сможет ухватить суть, ее нужно искать не там.

Далее Шмитт делает несколько сильных и не очень понятных на первый взгляд заявлений, что романтизм претендует на то, чтобы быть подлинным и универсальным искусством, являя эстетическое переживание в качестве центра духовной жизни людей: «Провозглашается абсолютизация искусства, универсального искусства требуют, и все духовное — религия, церковь, нация и государство — течет в потоке, который исходит из нового центра, из эстетического» (с. 27); «Когда разрушается иерархия духовной сферы, центром духовной жизни может стать все» (с. 28). Эти рассуждения знакомы тем, кто читал «Политическую теологию» и помнит, что он писал: все понятия и представления духовной сферы, все антропологические представления о человеческой природе, да и в целом представления о том, что есть общество, — все это получает конкретное историческое содержание от состояния некой «центральной области» (метафизического центра духовной жизни, который в Европе смещался несколько раз за последние столетия) и только так и может быть понято. Там же он отмечает, что, когда какая-то сфера человеческой жизни становится центральной, проблемы других областей разрешаются, исходя именно из нее, и уже считаются проблемами второразрядными, решение которых состоит само собой, если только будут решены проблемы центральной области. В этой же работе Шмитт, видимо, проговаривает эти идеи в первый раз и не столь отчетливо.

Задаваясь вопросом, какая же духовная структура лежала в основании такого распространения эстетического, Шмитт пишет, что «романтическое отношение к

миру яснее всего обозначается своеобразным понятием *occasio* (с. 29) — «случай», «возможность», «повод». Важным здесь оказывается то, что это понятие исключает любую «*causa*», причину, а также норму. При этом если на место Бога, являющегося центром духовной жизни людей эпохи Средних веков, приходит что-то другое: государство, человечество или история, то мы все же можем говорить о сохранении порядка и последовательности в восприятии и описании жизни, но если на это место ставят субъекта, человека — а именно это происходит в романтизме, — то мир становится для него только поводом к размышлениям или деятельности. Более подробно мы остановим на этой мысли дальше.

Итак, романтизм — это «субъективированный окказионализм, поскольку ему свойственно окказиональное отношение к миру, но вместо Бога романтический субъект занимает центральное место и делает из мира и всего в нем происходящего лишь повод» (с. 31). Романтическое отношение к миру исключает серьезность. Жизнь воспринимается такой, как ее представляют в мечтах, романтизация прошлого или заявленное стремление к идеальному будущему не предполагают возможность найти твердую опору в настоящем, жить «по-настоящему». Романтик всегда словно играет, его теоретические построения и душевные переживания — не более чем литературная импровизация на заданную тему, а значит, его искусство не является репрезентацией действительности. Он не способен на волевое усилие, поэтому у него нет твердых убеждений и представлений о должном. Однако о политическом романтизме Шмитт пока не пишет, переходя дальше к разбору попыток определения термина «романтизм».

Отмечая всю разность подходов к исследованию романтизма, Шмитт тем не менее выделяет несколько повторяющихся характеристик романтиков, а именно: неспособность понимать и воспроизводить юридическую аргументацию (к этому мы еще вернемся); некоторую связь с протестантизмом; деятельность только ради исполнения желания, пусть и иллюзорного; индивидуализм; мечтательность; эгоцентризм; иррационализм (который мыслится как преодоление рационализма); стремление к бессодержательной абстрактности. Он отмечает, что исследование осложняется тем, что многие историки называли романтическими все проявления духовной жизни человека, которого однажды причислили к романтикам, и считает такую установку также романтической. И все же Шмитт прослеживает эволюцию в понимании термина «романтизм» и отмечает, что в итоге у нас остаются как минимум два персонажа, которых можно назвать романтиками и которые вели политически активную жизнь — Фридрих Шлегель и Адам Мюллер (с. 62–63). Эти примеры позволяют продемонстрировать, что происходит, когда романтизм приобретает политическое измерение. И если о первом Шмитт пишет с долей сочувствия и понимания, то идеи второго подвергаются в его тексте разгромной критике. В приложении к настоящему изданию есть перевод двух лекций Мюллера об основах искусства государственного управления¹ (с. 382–424) и о ведении внутреннего

1. Сам автор писал об этих лекциях, изданных в 1808 г., что идеи, изложенные в них, «были искажены под влиянием господствующего духа мира, или духа времени, заплатить долг которому пришлось

государственного хозяйства, изложенного на теологической основе (с. 425–465), так что читатели могут сами оценить, насколько критика Шмитта была по адресу.

Итак, Шмитт обращается к анализу романтических субъектов, чтобы разъяснить практику политического романтизма на конкретных примерах (с. 62), а также чтобы оградить от этого определения тех, к кому он сам испытывал интеллектуальную симпатию: Бональда, де Местра и Доносо Кортеса. Этому посвящена первая глава.

Шмитт приводит различные свидетельства в пользу того, что в конце XVIII века в Германии политические взгляды романтиков либо не принимались всерьез, либо они сами к этому не стремились. Автор иронически замечает, что их деяниями были статьи, рассчитанные на внимание публики, а не на политический резонанс. Говоря о Фр. Шлегеле, Шмитт отмечает два момента: романтическую спонтанность и внезапность его политических жестов, а также то, что его как политика никто не воспринимал всерьез. Об А. Мюллере Шмитт пишет, что тот на протяжении всей своей деятельности оставался орудием в руках Меттерниха (с. 74), указывает на его интеллектуальную несамостоятельность (свойственную, по его словам, всем романтикам), пестроту идей и попытки соединить в одной теории несоединимые элементы. Впрочем, Шмитт признает, что Мюллеру эти попытки удавались в силу его неспособности полностью постичь суть предмета. Кроме того, Шмитт упрекает Мюллера за поверхностность политических убеждений, отсутствие искренней веры в какую-либо идею. Его политическая активность объяснялась желанием занять какой-нибудь важный пост, что часто приводило его в противоположный лагерь, однако последнее не могло надолго его скомпрометировать, так как о его «политической бесхарактерности» (с. 86) знали все.

Впрочем, отмечает Шмитт, реальной деятельностью обоих были только слова, а действия на политическом поприще имели целью утверждение собственного «Я» как политического деятеля и реформатора, а события, происходившие в стране и в мире, были только поводом самоутвердиться. Говоря о Мюллере, Шмитт называет его «слугой какой угодно системы» (с. 96), человеком, который мог бы приспособиться к любым условиям.

Охарактеризовав романтиков столь нелестным образом, автор пишет в начале второй главы, что структуру романтического духа все-таки нужно рассматривать в контексте духовной ситуации, а не исходя только из индивидуальных особенностей того или иного представителя. Таким образом, если мы собираемся учитывать сказанное ранее, мы должны считать эти характеристики особенностями романтизма как такового, а не человеческой слабостью или недоброкачественностью человеческой натуры.

и автору», а также отражали его стремление к идеалу. По поводу второго труда подобных комментариев не было, он впервые опубликован в 1820 г. и носит явные следы новых католических убеждений Мюллера и, как отмечает Шмитт, попыток использовать католицизм в интересах собственных теоретических построений.

Начинать исследование духовной ситуации романтизма следует с Декарта, результатом гносеологической критики которого стала эгоцентричность философского мировоззрения (с. 101). Реакции, последовавшие за утверждением картезианского рационализма, достаточно разнообразны, однако Шмитта больше всего интересует то, что он назвал «эмоционально-эстетическим романтизмом» (с. 106). В нем он выделил несколько особенностей: ироническое отношение ко всему, кроме своего «Я»; склонность к размышлениям над противоположными философскими категориями (при этом противоположности могут быть сняты в эстетическом или эмоциональном переживании, но не преодолены рационально); нежелание действовать в мире, а только наблюдать за ним; а также лирика как специфический продукт деятельности. По мнению Шмитта, наиболее отчетливое выражение эти установки находят у Ж.-Ж. Руссо, который, не будучи в состоянии преодолеть рационализм и интеллектуально завися от своих предшественников, нашел в выход, представив в виде конкретной желательной иллюзии то, что в прежней философской традиции рассматривалось как абстракция или исторический факт (с. 108), поскольку как типичный романтик он не был связан требованиями каузальности и рациональности.

Для дальнейшего исследования романтизма, отмечает Шмитт, существенно то, что развитие философии и теологии с конца XVII по XIX век привело к новым представлениям о Боге и Абсолюте (с. 111) и, следовательно, к тому, что в новом секулярном мире функции последнего основания и субъекта легитимации перешли к двум новым реальностям: человечеству и истории. Не вдаваясь в подробности описания развития философии в XVIII и XIX веках, необходимо отметить, что существенным для понимания духовно-исторической ситуации романтизма является то, что романтик «вмешивается в борьбу этих божеств со своей субъективной индивидуальностью» (с. 124), воспринимая ее как средство укрепления суверенитета своего «Я». А так как в реальности романтик не может занять место ни человечества, ни истории, он остается в ситуации вечного становления, предпочитая сохранить неограниченные возможности, открывающиеся в фантазиях о мире, а не сужать горизонт возможностей определением собственного места в мире и своей позиции (интеллектуальной, политической, этической и т. д.) и принятием ответственности за свои действия. Вообще Шмитт постоянно упоминает безответственность романтика, с которым, как с ребенком, постоянно что-то случается, но не он является причиной происходящего и не он отвечает за последствия. Возможно, с этим связана идеализация ими детства человека и человечества, любование первобытными народами, прошлым, из которого «можно лепить чудесные фигуры» (с. 133), ведь такая позиция позволяет и самому человеку не взрослеть и не начинать «жить всерьез». По этой же причине романтики мечтательно идеализируют другие страны.

В целом же, отмечает Шмитт, «романтик избегает действительности, но иронически, с установкой на интригу... разыгрывает одну действительность против другой, чтобы парализовать современную для него, ограничивающую его действи-

тельность. Он иронически избегает ограничивающей объективности и остерегается того, чтобы быть твердо к чему-либо привязанным; в иронии заключается условие всех бесконечных возможностей» (с. 135). Решившись на что-нибудь всерьез, романтик отказался бы от своей иронии и перестал бы быть собой. Впрочем, самоирония для романтика невозможна (она требует отстранения от себя, взгляд на себя как на объект) и опасна, поскольку разрушает иллюзии. Все же остальное — и общество, и история, и мироздание в целом — служит продуктивности романтического «Я» (с. 141), создающего мир, желательный ему (в литературе, политике, философии), при этом связи между причиной и следствием установить невозможно, поскольку каузальность отрицается. Впрочем, по словам Шмитта, романтики не стремятся к внутренней связности своих теорий, поскольку не видят противоречий в них. Это мешает им, например, развивать теории государства на основе права, а не чувств или переживаний, так как юридическая логика им недоступна. А в ситуации отсутствия логики любые формы могут относиться к любому содержанию и «в романтической анархии любой может создать свой мир» (с. 143). Романтизм — это творчество ради творчества, где любые события являются не причинами, а только поводом для реакции, и где важны не последствия, а чувственное переживание этой реакции.

В области искусства с этим не было бы проблем, но если мы говорим о романтической установке в этике, то сталкиваемся все с той же безответственностью, когда деятельность — это душевное переживание, свобода выражается в суждении и критике, а об ответственности речи не идет, поскольку любое суждение можно отменить. Шмитт пишет, что «воодушевленные или неохотные реакции на раздражитель не являются активностью. Человек не становится деятельной личностью в моральном смысле оттого, что он с чрезмерной интенсивностью воспринимает радость и печаль» (с. 178), а представить себе, что романтик всерьез решил участвовать в революции, невозможно.

И все же, даже после таких подробных описаний Шмитт здесь не пишет, в чем же состоит суть его претензий к романтикам, почему критика романтизма, политического романтизма стала темой его книги. К этому он обращается в третьей главе, где показывает, что романтизм не удовлетворяется сферой эстетического, и в самом конце XVIII — начале XIX века романтики формулируют собственные учения о государстве, поводом для которых послужила Французская революция, возбудившая их умы. В их теориях государство — это то, что «существует в идее», произведение искусства, духовный организм, духовное мировое тело, прекрасное, требующее искренней любви и верности, поклонения, а не правового обоснования (с. 195). Такое мировосприятие может соединяться с самыми разными политическими порядками и противоположными философскими теориями, с революцией и реакцией, поскольку ядром романтизма, с точки зрения Шмитта, является пассивность (с. 198), неспособность определиться, выбрать между справедливым и несправедливым (с. 199). Правовой или моральный выбор реализовал бы только

одну из имеющихся возможностей и отсекает остальные, чего романтик допустить не может.

Поэтому к политическим убеждениям романтиков нельзя относиться серьезно, они не готовы действовать. Шмитт указывает, что Шлегель видит зло в стремлении к политической активности и желал бы быть лишь «участливым наблюдателем» (с. 204). Единственная допустимая политическая активность в его представлении состоит в согласии с деятельностью правительства, не принимая решения даже в теории.

Из всего сказанного Шмитт делает вывод, что

«...революция и Реставрация могут быть романтически в равной мере осознаны, то есть их можно сделать поводом для романтического интереса... Совершенно различные, противоположные процессы и образы могут рассматриваться романтическим субъектом как начало романтического романа. Без изменения ее сути и структуры, которая всегда остается окказионалистической, романтическая продуктивность может быть связана и с каким-то иным объектом историко-политической действительности, нежели просто легитимный правитель» (с. 210).

При этом романтические теории государства подвержены влиянию моды не меньше, чем литературные вкусы и другие эстетические взгляды, и мода эта касается в том числе тех философов, теории которых могли быть использованы романтиками в качестве повода для размышлений о государстве. Очевидно, что субъективные эстетические переживания не могут стать основой для этики или политики. Романтики могут одобрить и оправдать все что угодно. Поэтому, пишет Шмитт, не существует романтических идей, а есть только романтизированные (с. 250). Таким образом, мы вроде бы приходим к тому, что политический романтизм, несмотря на свое название, не является ни политической программой, ни даже четко сформулированной политической позицией, можно даже говорить об аполитичности романтиков. Однако, во-первых, такой уходит из политики — это тоже политическое решение, а во-вторых, политический романтизм может «сознательно или неосознанно служить политической агитации и иметь политические последствия, не переставая быть романтическим, то есть продуктом политической пассивности» (с. 260). Таким образом, мы имеем пассивность и безответственность, соединенные с эмоциональным желанием новых впечатлений и готовностью получать их из любого источника, а также со стремлением утвердить свое «Я» там, где оно привлечет больше всего внимания. Стоит ли удивляться, что в политике так много романтиков?

Следует добавить, что Шмитт отделяет политического романтика от романтического политика, который может быть мотивирован романтическими представлениями и «поставить им на службу силу, проистекающую из иных источников» (с. 254). Такой человек, как Дон Кихот, способен сделать выбор между справедливостью и несправедливостью и служить этому выбору как идее, идеалу, в том

числе рискуя жизнью, чего никогда не сделал бы романтик, больше всего ценящий себя и свою жизнь.

В заключении Шмитт все-таки дает своеобразное определение политического романтизма, называя его «аффектом, сопровождающим романтика в его отношениях с политическим процессом, который окказионально вызывает к жизни романтическую продуктивность. Впечатление, внушаемое историко-политической действительностью, должно стать поводом для субъективного творчества. Если у субъекта отсутствует собственно эстетическая, то есть лирико-музыкальная продуктивность, то тогда возникает суждение, составленное из исторического, философского, богословского или другого научного материала...» (с. 279). Таким образом, политический романтик — это тот, для кого политик — это повод и средство проявить и утвердить свое «Я».

Видимо, уже в 1917–1918 годах Шмитт считал политику не игрой, а чем-то вроде наивысшей интенсивности противостояния, точкой напряжения, где требуется прилагать усилия, принимать решения и делать выбор, а не скользить по поверхности, ничего не принимая всерьез. В приложении к настоящему изданию есть краткая, но очень точная рецензия Г. Лукача на второе издание «Политического романтизма», где он пишет, что Шмитт прав в критике романтизма, но так и не отвечает на вопрос, почему именно окказионализм стал его основой.

Отчасти этот вопрос важен и для нас, читающих эту книгу в десятые годы XXI века. Еще когда она готовилась к публикации в 2009 году, тема политического романтизма оказалась очень значимой для публичных интеллектуалов, по-разному оценивающих и термин, и феномен, и самого Карла Шмитта². Сейчас, спустя шесть лет, размышления о политической активности и пассивности, роли и месте интеллектуалов в политике, о свободе и ответственности индивида интересны ничуть не меньше. Да, Карл Шмитт дает почти однозначный ответ на вопрос, должен ли мыслящий человек иметь политические убеждения (или убеждения, способные стать политическими) и быть политически активным. Но есть точка зрения, что политика — это сфера, где действия совершаются при помощи слов, что функция интеллектуалов состоит именно в том, чтобы наблюдать и фиксировать, а потом размышлять и искать причины происходящего.

Если вспомнить характерные черты описываемых Шмиттом политических романтиков, возникает вопрос, не лучше ли, если люди будут продолжать воздерживаться от действия, сидеть в кафе и писать статьи, и никогда не выйдут на баррикады, не выплеснут в реальность то, чем полны их головы, не пойдут за это бороться и убивать? Может быть, лучше и полезнее «описывать опыт революции, чем его проделывать»? На эти вопросы нет единственно верного ответа, но и в качестве вопросов они полезны и продуктивны. Вряд ли Шмитт предполагал такой эффект от прочтения своего текста, но его описания рисуют картины, над которыми стоит задуматься, мысленно примеряя портреты персонажей на сегодняшние реалии.

2. См., например, публикации в Русском Журнале: <http://russ.ru/Temy/Politicheskij-romantizm>

Political Romanticism One Hundred Years After: A Look from the Past to the Future

Maria Yurlova

Associate Professor, Northern (Arctic) Federal University

Address: Severnaya Dvina Emb., 17, Arkhangelsk, Russian Federation 163002

E-mail: procurator.minbar@yandex.ru

Review: *Politicheskij romantizm* [Political Romanticism] by Carl Schmitt (Saint-Petersburg: Praxis, 2015) (in Russian).